

Дружба, что и любовь, бывает и первой, и последней.

До войны мне ни с кем не дружилось, не возникало этой надобности — ведь все собою заслонял Максим. Узнав Белянку, я поняла, что до той поры оставалась обделенной чем-то таким, без чего нельзя было считать себя полезной на земле. Я постоянно чуяла, где она есть, что делает и каково ее состояние — насколько холодно и голодно ей, до какой степени она подвержена смертельной опасности. В первые же дни я преподавала ей уроки выживания в лагере. Научила разбираться в основных командах, отдававшихся по-немецки, показала, как надо маскировать тело, чтобы оно не соблазняло капо, но и не отвращало их, потому что за одно это могли уволочь в крематорий. Рассказала, как обменивать еду, — с какой пользой для себя, — мы же там менялись: одной не лез в рот печенный с опилками хлеб, другую выворачивало с маргарина, более напоминавшего техническую смазку, чем питательный жир, третья отказывалась вливать в себя брюквенный развар. Пояснила, что двигаться в колонне безвреднее не впереди, не сзади, не с боков, а где-нибудь в середине, так, чтоб, когда начнут стрелять, не угодить на прямую очередь. Растолковала, как выносить нередко налагавшийся массовый штраф — стоять два часа голыми коленями на щебенке и держать по кирпичу в поднятых

руках. Подвергаясь ему даже ночами, мы, более опытные узницы, наловчились чуть-чуть сбавлять адские мучения, но для этого требовалась и смелость и природная реакция тела, иначе можно было запросто улечься на плацу с раскроенной головой. Расчет здесь строился вот на чем: вышагивающего позади нас капо с палкой отвлекали с одного края согласованной возней, громкими вздохами или еще чем, а в это время там, куда он не глядел, опускали и вскидывали руки. Невелика выгода, скажете? Правда. Но мышцы, получая разминку, не деревенели и не так сильно отекали, и можно было надеяться, что останешься в сознании до конца, не грохнешься замертво.

Везло нам вплоть до сорок пятого победного года... Мы действовали слаженно, имея, казалось, единственное назначение: по едва заметным проявлениям усматривать опасности, которые, не упреди их, могли закончиться нашей гибелью. Я, например, отлично чувствовала, когда у Белянки отключался какой-то аппарат и она становилась небдительной — предавалась, умотавшись, обморочному сну или, блаженничая, ходила как святая, все созерцая, но мало что осмысливая. В такие периоды мое восприятие окружающего сильно обострялось: я, вздрагивая, забывалась собачьим сном и, если пьяные капо среди ночи вламывались в барак и принимались хлестать плетками всех без разбору, чуть не на руках выносила Белянку через окно в темноту. Однажды в поле она была почти невменяема и не услышала отданную ей надсмотрщиком команду; он схватил лопатку и с межи запустил ею в голову Белянки. К счастью, я была тут же и успела вскинуть на пути тусклого высверка картофельную набируху.

Но проходило сколько-то времени, и Белянка начинала воспринимать беды чутко, как зверушка. Тогда я давала себе маленькое послабление.

Я уже иногда про себя подшевеливала давно оставленную мечту на спасение: как она, сохранна ли? И убеждалась — есть, есть надежда, не оставила свою хозяйку. И не хотела, суеверничала, а распалила душу тем, что, вероятно, не стоило ее спугивать — мне казалось, что перенесенные страдания должны были вознаградиться освобождением из лагеря; на выживание было положено столько, что это само собой требовало справедливой компенсации. Но тотчас же глушила вскипающую веру: Освенцим был тем местом на земле, где не действовали ни человеческие, ни божеские законы.

Белянка, по-моему, тоже начинала верить в то, что и ей суждено выйти на свободу. Она стала чрезмерно боязливой, паниковала без особых причин. Как-то я обнаружила ее в темном углу барака всю в слезах, изнемогающую от рыданий. Привела ее в наше гнездовище, взялась утешать.

— Чего ты разревелась? — спрашивала я.

— Бросит меня Витюня такую... Бросит, бросит!

— Какую это?

— Опоганенную. Из-под немцев...

— Дурак, значит, будет, — сказала. — Перестань нюнить!

— Но они меня-а-а...

— Это не считается, — перебила я. — Твоей вины здесь нету, пойми. Душа бы не запоганилась — вот что главное.

— Ага, рассуждай. Добро тебе... За тебя Максим вон как восставал. В таком парнине и я бы не сомневалась.

— Чем же Витюня хуже? Еще неизвестно, как бы он за тебя заступился.

— Он меня только как бабу хотел. Теперь я понимаю...

— Ни черта не понимаешь, глупая! — вскричала я, — Да разве можно любимого человека с этими живодерами ровнять?! Спятила?

— Не обижай меня. Не надо,— одумавшись, сказала Белянка.— Сама не знаю, что говорю.

— Не буду...

— Ты хорошо Максима помнишь? — немного погодя спросила она.

— Конечно. Мне больше некого помнить.

— Всего-всего?

— Пожалуй... А что?

— Я вот подзабыла Витюню. Забыла его походку, голос, смех. Знаю, что есть он — веселый, несообразный, а различаю плохо. Без подробностей... Идет он будто ко мне, а подойти не может, точь-в-точь как во сне. У тебя бывает такое? — пытливо спросила она.

— Нет, кажется, — ответила я с возникшим вдруг беспокойством.

— Любишь, стало быть, Максима, — заключила Белянка. — Дай-то вам боженька найтись!..

— Да есть ли он на белом свете, Максим-то?! — вырвалось у меня. — Может, тому, чем грежу, уже не дано свершиться. Сознаешь это?

— Что ты воронов скликаешь? — тоже взбудоражилась Белянка.— Люби его, как любила, верь ему.

— Тем и живу.

О том, что немцам достается на фронтах, знал весь лагерь. Кто как, а лично я представляла в целом, сколько фашистов истребили на такой-то день и сколько их, паразитов, еще ходит по земле. Додумки? Игра воображения? Едва ли, ведь наши истязатели имели человеческий облик и, наблюдая за ними, можно было заключить, каковы у них дела. О, как я завидовала тем, кто где-то шел на них вооруженный!..

Декабрь 1944 года мы еще волочились за жизнью, как и прежде: поднялись утром — ладненько, отработали день, не свалились — хорошо, не улетели в трубу — еще лучше. Каждая узница, способная к рассуждению, понимала тогда, что скоро-скоро все кончится, только вот чем? Никто не верил, что фашисты оставят нас напоказ людям. И тем не менее большинство ждали чьей-то милости, надеялись. Я, например, воображала такое: не сегодня, так завтра налетят красноезвездные самолеты, оббомбят лагерь специально изобретенным способом, уничтожив лишь охрану — всех издевателей подряд. Грезы, грезы... А в действительности творилось иное.

И вот однажды...

— Глянь, что у меня на спине, — попросила Белянка, высвободившись из страшной, как саван, рубахи.

Я быстро осмотрела ее вздутую на костях, дрябнущую плоть и отшатнулась словно ушибленная: кожа там и тут была в звездчатых липухах, жидко наполненных сукровицей.

— Сухая ты...

— Как балалайка? Да? — по лицу ее прометнулась тень улыбки.

— Болячки высыпали,— проговорила я сколовшимся голосом.

— Много?

— Да есть.

— Лекарства бы... Мази какой у них взять...

— И не мечтай! Забудь! — встревожилась я. — Не проговорись, что заболела, а то быстро в двадцать пятый барак угодишь. Там вылечат!.. Эх, овечка!

Взъедаться на нее, конечно, не следовало. Она ведь не знала, что через два-три дня спина ее начнет вскипать глубинными нарывами, которые, ища себе место, будут рвать и гноить мышцы.

Ночью я проснулась от внутреннего импульса, тайного знака, поданного самим организмом. Полежала, слушая, как мучительно спят женщины, и ничего опасного со стороны не обнаружила. Потом рука моя сама поползла к лопатке, наткнулась на остренькую пупырышку и сковырнула ее. В тот же миг я почувствовала там болезненный зуд, стойкий и неотвязный. Ощупала, сколько сумела, свою присохшую, будто выделанную кожу и догадалась, что у меня наплывают такие же, как у Белянки, звездчатые липухи. Подумала: посеялись они, что ли? И ответила себе: как знать, ведь спали мы для угрева тесненько, как птенчики.

Я испугалась, но, как это ни странно, испугалась спокойно; страх был устоявшийся, давний, он только вроде бы освежился. И, как всегда бывало в подобных случаях, я начала сосредоточенно, до ломоты в висках, думать. Мозг заработал вовсю, к нему будто подключились некие усилители, и, казалось, неведомая энергия сама собою взялась отыскивать вероятные выходы из создавшегося положения. Раскиданными кусками, вспыхивая и потухая, представала взору лагерная наличность: тысячи и тысячи двигающихся рабов и рабынь, уставленная бараками чужая земля, фашисты с оружием, лающие собаки и тому подобное. Направляемая мозгом энергия высвечивала то одно, то другое, но ничего годного для обезвреживания возникающей опасности не отыскивалось. И выплывало из мрака предстоящее действительное: иду в баню, раздеваюсь, там обнаруживают болезнь, избивают за то, что скрывала ее, и уводят в барак № 25 «на лечение», а оттуда ясно куда — в печь. Как чурку дров...

Все разворачивалось именно так, как я и полагала. На другой день Белянка тайком оголила свою спину, и я увидела их — тяжелые, рдеющие в благодатной среде нарывы. У меня от них тоже раздирало мышцы. Таиться можно было лишь до первой бани.

— Сожгут нас, я знаю,— запричитала Белянка, упав взмокшим от слез лицом мне в колени. — Не пощадят, не-ет...

— В диковинку им, ага? Чего ради будут с нами валандаться? — промолвила я, дабы привести ее в состояние обычной восприимчивости бед. Но хитринка не подействовала — Белянка запаниковала.

— Пускай меня лучше расстреляют! — ее стало истерически взбрасывать. — Я боюсь ожогов! Вот... — она обнажила бедро и боязливо указала на желтоватое пятно, заплатно сидящее на голубоватом теле и затянутое кожей, будто настоявшейся пенкой. — Ошпарила кипятком из самовара давно, когда в шестой класс ходила... Пускай стреляют! Р-раз — и готово! Не жалко...

— Долго ли погибнуть... Дурное дело... — сказала я не только ей, но и себе. — Теперь хоть маломалишная надежда есть выйти отсюда, а там... Стоит ли выбирать худшее?

— А что делать?

— Придумается что-нибудь...

Отчаиваясь до беспамяатства и снова загораюсь верой, я продолжала выдумывать различные способы сокрытия от глаз надзирательниц нашей болезни. И вот как-то взгляд мой уперся в растоптанный под окном барака солидол — техниче-

ское вещество с медовым лоском, обметанное сверху черной патиной. Оно наполнило собою целебную мазь и... просилось в желудок, ночью я вылезла в окно, отыскала на земле руками солидол и густо облепила им нарывы. Проходила день — ничего, полегчало даже. Или казалось так? Скорей всего, облегчение было потому, как смазанная кожа не очень лопалась. Предложила средство Белянке.

— Нет, нет! — открестилась она. — Боюсь заражения. Брезгую...

Настал, как и все настаёт, банный день. Мы с Белянкой шли плечо в плечо, цепко держась за руки, и, как великие грешницы, затравленно взглядывали на стороны. Находившийся в страшном напряжении мозг мой, как догорающий фитиль, озарился убого-счастливой мыслишкой.

— Лезь туда, прячься! — толкнула я Белянку в раздевалке к одежде, которую женщины сбрасывали прямо на пол.

— Увидят — избыют! — отшатнулась она, вся дрожа. — Не могу я так! Не могу!..

Уговаривать ее стало некогда — в дверях уже раздавались голоса надзирательниц. Зажмурив глаза, я полезла в кучу грязнущих яков — лагерных курток, и на какие-то мгновения теряла там память от недостатка воздуха. Когда кончилось мытье и раздевалка наполнилась узницами, я выбралась оттуда, зашла в уголок и, чтобы не вызвать подозрений, облила голову водой.

Белянки нигде не было видно. Мне сказали, что ее повели в двадцать пятый барак.

На следующий день после работы я выменяла лишнюю порцию маргарина, комок хлеба — и где ползком, где вприсядку — пробралась в тот двадцать пятый барак, от одного упоминания которого нас бил озноб. Белянка, исполосованная плетками до черноты, с вывернутыми опухлостью губами и со сломанным носом валялась на голых досках. Она признала меня, хотела, по обыкновению, в знак приветствия заплакать, но не сумела — исплакалась вся. Есть она отказалась.

— Пускай меня расстреляют... скажи им... Пожалуйста... — шептала Белянка. — Я боюсь ожогов...

Она тянула ко мне истонченные, словно ветки засохшего дерева, руки, и казалось, улетала в черное провалище, туда, откуда никто не возвращается. Я сидела подле нее, живой еще, страдала, как была на это способна в то время, и ничем не могла ей помочь.

— Витенька, родной!.. Забери меня отсюда... Мама, мамочка, дай шаль, замерзаю... Нет, нет, жарко!.. Огонь!.. Огонь идет на меня... Горит! Все горит...

Так уже бредово наговаривала она, когда я, опасаясь быть выловленной, покидала барак.

На Байкале свирепствует горный ветер. Мне кажется, что его замешивают в низко громоздящихся тучах размахивающие вершинами деревья. Кругом беспокойно, черно, подвижно. С надолго уравновешенным плеском хлещутся о каменный берег волны. Пускают окрест свои надсадно-тоскливые крики чайки. Прохладно и сыро, все уже опахнуто осенней знобью.

Что еще поведать вам, люди?

...Белянка оказалась в числе последних узниц, стравленных в огне Освенцима. И в тот же день всех нас, содержащихся в бараке № 19, погнали ломать еще не остывший «дамский» крематорий. Мы дробили лопатами кафель, рушили печи и оттаскивали в стороны раздробленное спешно и воровато, как бы опасаясь того, что он сам может собраться заново. По велению надсмотрщиков мы тянули «Стеньку Разина», точнее выстраивали мотив, а на самом деле пели вовсе другое, подлаженное кем-то к любимой песне. Вот эти едва собранные в рифмы слова:

*Есть за польскою границей
Город хмурый и суров.
Город лагеря Аушвиц,
Где не любят вольных слов,
Здесь для всех приют и ласки...
Без разбору — всех в камин.
И как будто в жуткой сказке
Всем уж нам кричат: «Аминь!»
Ветер воет, буря свищет.
Заключенных ветру жаль.
Черна туча слезы ронит
За еду, драную шаль,
Но настанет час и время,
И могучею рукой
Разобьем мы лагерь смерти
И отплатим кровь за кровь.*

Не ахти что, правда? Но мы пели это истово и устремленно, так, будто зачитывали приговор каждому фашисту в отдельности.

В тот день я, вся содрогаясь, запустила руку в ставший ненужным человеческий пепел и достала снизу, из жгучей глубины, горсть серого вещества. С бабьей обстоятельностью завязала его в узелок и носила под рубахой до самого освобождения.

Максим?

Максима я разыскивала долго, около двух лет; это особая история. Оказалось, он тоже был в Освенциме, мучился где-то неподалеку от меня. Его сожгли под новый 1943 год за организацию побега, об этом мне рассказал чудом выживший участник того неудавшегося предприятия поляк Ян Тембельский, которого я нашла в самой Варшаве, куда сумела выхлопотать въездной документ.

В Сибирь я ехала по осени 1947 года с отслужившими свое воинами-дальневосточниками. Что меня гнало оттуда, с Запада, не берусь об этом судить и теперь. Скорей всего, не хотела видеть то, что оставила после себя война. Или стремилась отыскать на земле уголок, где можно было бы поменьше вспоминать о прошлом. Как бы там ни было, но когда двое солдат, шуткуя, предложили сесть в их эшелон, бегущий на Дальний Восток, я, упреждая возможные колебания со своей стороны, немедленно согласилась: конечно, конечно, отправляемся!.. Мы ехали в товарном вагоне — с раскаленной чугунной печкой, с гармонью, с прибавками, в свисте и гоготе. Я либо улезала в отведенный мне уголок и надолго замолкала, либо бралась петь и плясать, либо хохотала и хохотала. Коротенько рассказала солдатам об Освенциме, и после этого они даже не пытались заигрывать со мной.

Дальше за Байкал я не поехала, не решилась, потому как там прошла хотя и малая, но тоже война. К тому же я вспомнила, что где-то здесь оставалась родина Лёли Черенцовой, моей Белянки. Я нашла селение, в котором она жила, все разузнала о ее семье. Отца ее убило на фронте, мать скоропостижно умерла, а младшие братишки и сестренки доросли в детдоме.

Привезенный из Освенцима пепел я разделила на две части — на самых дорогих мне людей, Максима и Белянку, — и, соблюдая погребальные обычаи, схоронила на взгорке сельского кладбища.

...Стою с обнаженной головой возле бетонных тумбочек и, чудится, держу на ладони тот жгучий пепел — в руке до самого плеча токает, свербит. И нет мне от этого покоя.